

УВЕРЕННАЯ НИКА

РАССКАЗ

Мы трахались как взрослые собаки, а спали как щенки: хоть и касаясь друг друга, но свернувшись каждый сам по себе. И взрослым собакам, и щенкам — всем было хорошо. Прелесть интеллектуальных занятий была нам знакома, но не застила простых собачьих радостей: попить, покушать, порезвиться, лизать богам лапы и бездумно глядеть на невозможную луну. Меня звали Ника.

Моего чуткого мальчика звали Владислав: он был очень нежен со мной, и он был лучше всех, кого я знала. Мы жили в неожиданно нам доставшейся родственной квартире: комната и кухня, ванная и коридор для игр, а что ещё надо — то есть, я имею в виду, а что ещё бывает, — то есть, а что ещё может быть? Незаметные соседи промелькивали пару раз в выходной, пару раз вечером; утром мы их не видели — они уходили затемно — мы любили утро. Поутру город такой серенький и трогательный — плакать от счастья хочется, как жить хорошо. Мы даже завтракали рано: рано позавтракаешь и снова бежишь на улицу (у нас и удобства во дворе были, все говорят — некомфорт, да нет, не настолько: просто смешно, забавно, когда знаешь, что всё это ненадолго с тобой и не навсегда, скоро жизнь изменится к лучшему, но нравиться она должна, так мы считали, уже сейчас. Мы даже записки друг другу на туалетной бумаге писали, до того нам пофиг были все условности, так нам свободно и удачно жилось). Через месяц Владик пошёл на работу.

Я сидела дома, ну, это так говорится, а на самом деле и по магазинам ходила, и по делам, и пройтись... Однажды встретилась со школьной подругой, та не сразу узнала меня, восхищалась, как ты похудела, а мне смешно: не виновата, говорю, нет, таблеток не пила, ем всё подряд. Стала с тех пор на себя обращать внимание, как бёдра там, а как грудь, и такое было счастливое время, что всё почти мне нравилось: свеженькая, и Владiku я была всегда пожалуйста, вот только он... Ну, я и устроилась.

На работе на первый взгляд не до шалостей, а побегаешь, приживёшься — и понимаешь: всё то же самое. Молодая стайка, все ласково так, «ребята», — словом, детский сад какой-то, так мне повезло. Постоянно какие-то сборища, кофе, клиенты с пирожными, но больше всех мне нравился наш самый-самый начальник, просто по-дружески или не по-дружески, а как старший, и по секрету, конечно, — никому я ничего не говорила, летела, сломя что попало, после работы домой, Владик там, милый там, хороший, дома не так весело время бежит, зато уют, покой, говорят, спокойствие, маленькая семья. Семейное всё у нас хорошо было, Владик ходил на курсы, и я, на работе наперебой убедили, поступила на заочный. Надо значит надо: купила калькулятор, тетрадей, а дальше? В школе-то я сообразительной была, а через пять лет оглянулась — такую в себе нашла простоту, проезжай и не сворачивай. Владик то да сё, потыкался, но сам, ги-ги-ги да помощи, такой же: подобрались, значит. Мне стал помогать Павел Викторович: на работе он обязательно задерживается, начальственно выходит в зал, вполголоса интересу-

ется положением, а у меня положение тяжёлое, я студентка, мне надо учебный отпуск давать, и за обещание в сессию захаживать на работу почаще... Можно подумать, я собиралась! Всё случилось как-то само собой, и подробно объяснять такие вещи незачем: мы гуляли и в дождь, и в ветер по пустынным переулкам. Павел Викторович, что называется, делился накопленными сведениями о жизни. Это я пока исключительно в прозаическом смысле: считал, сколько на его веку открылось вокруг служебных романов, рассказывал, что у Ленина в голове, как в старом чайнике, была сплошная накипь, и водил меня смотреть на бюст какого-то Кошкина. Странная штука эти бюсты: и зачем у них нет рук? Если бы руки свисали, было бы гораздо смешней.

«Хорошие дела быстро не делаются», — любил повторять Павел Викторович, и вот теперь я не могу понять: то ли то, что у нас с ним произошло, было исключением, то ли... В ноябре наш отдел заступал на дежурство, и я в первых рядах. Дежурному полагается ждать, пока уйдут сначала все фанатичные пользователи компьютеров, потом все неисправимые трудоголики, потом все самые несчастливые мужья — в общем, это до позднего вечера, а обед у нас в двенадцать, последний кофе — в три, вот и стряслось, наконец, что-то невообразимое: ещё сидели в секторе неразлучные коллеги Серёжа и Олежа, а начальник отдела уже пригласил бедную проголодавшуюся дежурную почаёвничать в свой кабинет. Этим своим определённым мужеством Павел Викторович меня по-настоящему тронул: мы сидели друг перед другом, подчинённая перед начальником, и болтали, не включали верхний свет, я смеялась, мы смотрели в окно, а из наших рабочих окон во все стороны далеко видно — и всюду город, и просторная городская околица, и дымка, и огни... Когда я спохватилась, что помещение уже может быть, давно без присмотра, то так оно, конечно, и оказалось. Вслед за мной зашёл Павел Викторович. «Эх, Ника-Ника, — приговаривал он, — эх, Ника-Ника...» — всё было опять как-то очень, как Владик, только сильнее, только старше и мудрее, а я всё не... вместе, вместо, и небо расползлось, и веко околицы взметнулось, венчики ближних деревьев завертелись, взбивая придорожный дым, поплыли ночной — темнота в темноте — радугой, всё кончилось, слёзы кончились, прохладные, гладкие пальцы сплелись электрический танец-разряд на моей спине, гладили меня, касались шеи, щеки, я прижала их к губам и поцеловала, а город говорил: «Ну, что ты, ребёнок... Ну, что ты...» — возможно, говорил он мне.

В июне я сдала свои первые экзамены: победила, значит. Владик работы после курсов не нашёл, а на старой становилось всё неприличней: теперь он сидел в своём счету, перестелил на кухне линолеум и читал книги по астральной психологии — многое у нас совпадало, и мы решили завести ребёнка. За девять месяцев с деньгами должно было что-то устроиться, так мы думали, а вышло не девять, а больше, то есть вообще ничего не вышло, ничего у меня, наверное, не получалось; с Павлом Викторовичем у нас был серьёзный разговор, что я молодая, у меня всё впереди, что он жалеет и не будет, я охотно плакала. Пошла в санчасть, легла в кресло, хоть и не люблю; колола витамины, вела температурные графики, неслась куда посылали, делала за ползарплаты рентген, потому что для Владика будущий ребёнок неизвестно почему стал очень многое значить, и немедленно за оставшуюся плюс премия — в стационар. Муж приходил не так чтобы часто, но голодать не пришлось: через три дня в соседней палате появилась школьная подруга Настя, та самая, кругленькая, с проблемным абортom; не успела она оттемпературить, как уже встала на ноги и пришла ко мне общаться — вместе наступать смысл событий, как Владик бы сказал.

Моя история про линолеум и психологию её развеселила и успокоила: «Господи, — сказала Настя, сравнивая наши случаи, — хочешь, не хочешь — деньги тебе же», — и расхохоталась, у неё-то уже были двое, мальчик и мальчик. «Потолстеть тебе надо, — говорила она. — Мужа не бойся, они это любят», — и я соглашалась,

брала на колени ледяную кастрюльку и кушала чужие котлетки, голубцы, перец фаршированный с маринованными помидорами и фаршированные помидоры с маринованным перцем, отчего в моём неприспособленном желудке образовывался тугой холодный ком плохо пережёванной еды, и мы шли на процедуры, где я немного отогревала живот в ванночке, не совсем для этого предназначенной, теперь надо было перевернуться наоборот, еда мешала мне дышать, а молоденький врач с двойной макушкой отрешённо копался где-то там, в известных местах, поверяя неприглядной практикой то, чему его по благу и за деньги учили в самом дорогом институте города. К нему же по окончании курса я пришла на итоговый приём, с итоговым же конвертом. Дописав розово-сиреневую справку (бьюсь на оклад, бутафорскую), он поднял глаза и едва уловимо поморщился, как будто бы, поглядев в моё лицо, с неизбежностью вспомнил что-то совсем профессионально другое.

Лечение, по его словам, дало весьма интересные и, в сущности, неплохие результаты, что, впрочем, совершенно не значило, что теперь я могу забеременеть, хотя и обратное пока ещё не было никем доказано, — так, по крайней мере, гласила наука устами этого юного застенчивого взяточника, которого, по утверждению Владика, «как и всё в мире, тоже можно понять». Я сдала кровь на анализы, пришлось и Владика помучаться; ещё ничего не было известно, когда зашла посумерничать Настя, с которой мы за пару предыдущих прошедших дней, чего я никогда не могла бы предположить, достигли большой степени откровенности, благодаря чему и смог у нас состояться ключевой объяснительный разговор следующего нелицеприятного содержания. «По-детски вы как-то живёте, — сразу сообщила мне Настя, — вот что я поняла!» — и на мои робкие попытки выяснить, чем же коренным отличается от нашей не детская, а взрослая жизнь, сказала как отрезала: «Движением!» У них, у нормальных взрослых людей, по её словам, постоянно что-то происходит, что-то меняется, — но не как у меня, «сшила» на «помыла», а из прошлого в будущее: «Даже у таких невысоких и компактных, как собачка», — «Комнатных, как собачка?». — но она меня не слышала, принялась рассказывать, как жутко они залили соседей, когда отвалился бачок (зато появился развод поменять всю сантехнику), что буквально через неделю смехотворный муж уронил банку заплесневелого варенья в новый унитаз (который теперь заклеен и подтекает, но Настю и это радует: «В следующий раз будем умнее, купим полноприводный»), а ещё они с мужем Игорем регулярно двигают мебель и на барскую ногу скандалят по понедельникам. Хотя последнее, на мой детский взгляд, не было признаком каких-то замечательных изменений, Настя и мебелью, и скандалами гордилась особо, — мол, это уже знак качества, не подделка: «А жить иначе — просто инфантилизм какой-то! — говорила она. — “Спокойно и тихо” значит “вообще никак”. Ну ничего, ребёнок вас быстро научит... Повзрослеете!»

Возражать стало, в сущности, нечего, да и незачем. В моей жизни тоже что-то происходило, какая-то поступательность, — и даже, казалось бы, появилась своя скромная, такая обичная, цель, — но ведь и разница между мной и Настей существовала неоспоримо: вопиющая, если к ней прислушаться, разница, объяснить которую, попробуй я об этом думать, было не легче, чем — в Настиных глазах — повзрослеть. Дело близилось к выписке. Явился чрезвычайно нарядный мой муж и произвёл на Настю большое впечатление: «Какой он у тебя, Вероничка, — восхищённо шептала она мне, — тоненький, худой...» — «Куцый, что ли?» — «Дура ты, Верик, хоть и замужем! Это он когда-нибудь будет куцый, а сейчас пацаний. Я, знаешь, — сказала она почему-то в прошедшем времени, — очень таких любила...» — муж, слава богу, мялся за стеклянной дверью; мы с Настей обменялись телефончиками и поглядывали на него теперь очень похоже: «И, наверняка, понимающий», — но если добавить, что меня к тому времени спорадическая свертчатость Владика порядком задолбала, это был даже не комплимент, так

что с пронизательной школьной подругой я поспешила распрощаться, и мы с таким хорошим со всех сторон Владиком пошли послушать, как юный, но поднаторевший оракул будет толковать наши бестолковые анализы, и, несолоно не евши, вернулись: «Не готовы», — поехали было домой, но обнаружили отсутствие моей заурядной сумки, Владик побегал в палату. Вышел минут через десять, поклажа на плече: «Быстра твоя Настя», — сказал только (видно, успела и обнаружить, и к себе переташить), а во вторник я причапала за результатами: принял меня, выручая заболевшего молодого специалиста, профессор, академик, паук, был участлив, бережен, нетороплив. Несмотря на это, хватило пяти минут, чтобы надежды Владика... — «Видишь ли, девочка», — профессор начал (вероятно, очень популярно и доходчиво) объяснять механизмы и условия, каких я, к невеликому стыду, ни понять, ни запомнить не смогла, сосредоточив всё своё студенческое внимание на выводах, а выводы были совсем, совсем не утешительны — существовало, впрочем, ещё несколько способов, которые, ввиду явной экзотичности... ни я, ни астролог Владик столько не зарабатывали. Оставалось только выслушать учёные слова ободрения, — их заслуженный доктор, в далёком прошлом жгучий брюнет, производил, тем не менее, как бы смущаясь — пока я не догадалась, в чём дело, и он не надел на грамматически правильную лысую головуakraхмаленный сизый чепчик, отчего прокашлялся и принялся вещать не в пример солидной. Выходило, что надо верить, надеяться, копить деньги, а покуда не отчаиваться и заниматься любимым делом. — «Кстати, у вас есть хобби?» — китайцы за всех нарожают, людей и так (унылый взмах рукой). — «Полагаю, вы не очень увлекаетесь философией? Ну, это к лучшему, — говорил сумасшедший профессор. — И без философии понятно, что детей надо делать между делом. У них будет своя жизнь, а у вас — уже есть — своя, и нечего её класть исключительно на алтарь продолжения рода. Нечестно, обнаружив себя в тупике, принимать ребёнка за ответ и выход, и когда выхода вдруг не оказывается...» — но что мне было до его клинической мудрости, умирала маленькая мечта.

2

Всего-то три станции ехать, но на второй зашли, — да что там, ввалились в вагон они: пьяные муж и жена, а с ними ещё парочка (помоложе, пожалуй, но и похуже), и дети — дети под ногами и вокруг, никак не меньше шести, семи? даже восьми — через одного в серых обновках, голосащие и спорящие, помыкающие поминутно младшенькими и отбивающиеся от понуканий старших, треплющие в карамельных ручонках игрушки бог весть какого предыдущего поколения: может, этих вот горланящих, шатающихся и громко смеющихся взрослых (шестой час — с рынка на электричку и домой, прямо-таки «покидая Лас-Вегас»). — «Ну, знаете, милая, с другой стороны, мы ведь должны быть им благодарны. Разве тот, кто думает, рождает? Надо же прирастать хоть кем-то, а иначе — с чьих налогов получать пенсию?»

Странная зима: мир бледен, как распечатка на загнанном ксероксе. Изредка вглядываясь в привычные, без любви и памяти родные окрестности, я иду домой и думаю о разном. Дом — давно не тот, жизнь тоже не та, и когда преодолены четыре пролёта скрипучей лестницы и закрыта на ключ неприметная дверь, не стоит — то есть пора, но не хочется, — больше делать ничего: ни готовить ужин, ни гладить рубашку, ни стирать платки и носки, — остаётся только согреть себе чаю и ждать обсыхающей куколкой.

Где-то в доме занимаются любовью, а у нас скрипят половицы. Спокойный, почти уверенный, тянущий ритм, а в конце — восемь-девять заполошных раз, будто удалось вырваться из строя, из тела, из (воображается) чужого, пусть повсе-

местного и вселенского, но внешнего ритма — и выпасть, как мечталось героям одного аргентинского писателя? ан нет, — пару ударов в прежнем темпе и всё... «Всё это — обман; точнее, самообман обещаниями; обещаниями себе невесть чего, потому что, во-первых, выпасть нельзя, а во-вторых, и выпадать-то, по видимости, некуда», — вот что я научилась думать этой зимой, но много ли в том радости?

Когда-то, в дни наших встреч, Владик казался мне так умён, так недосыгаем, и в то же время так снисходителен, так понятлив — увы! я пережила не лучшие минуты, пытаюсь объяснить ему причины нашего бесплодия. Никто из нас не знал нужных слов — и дело даже не в объяснениях: никакой верной, или красивой, или попросту тёплой мысли мы не нашли, чтобы утешить друг друга, а то единственное, что умели, так не вполне подходило к несчастному случаю, что Владик запаниковал. Не знаю почему, но он счёл себя всюду виноватым и бросился громоздить несправедливые оправдания, — а оправдания всегда несправедливы, если того, в чём приходится оправдываться, нет и в помине не было. Нежный муж то ругательски ругал условия, то ссылался на подставы светил; вспыхивали и злобно гасли невнятные обвинения... В этой панике, среди воронкообразного, засасывающего, — словно серая вода на дне ванны, — хлюпа и визга мне вдруг всё обрыдло: я больше не любила Владика, не хотела от него ребёнка, но ещё больше и себя, и всех жалела. У мужского страха и впрямь не глаза велики, а язык: я и вздоха не могла вставить в мужнин лепет. Когда же возможность прояснить ситуацию всё-таки представилась, мои бесцветные разуверения (видит Бог, не до них мне было в тот вечер) он принял с исключительной лёгкостью и — замкнулся, отодвинулся. Словно издалека приходилось мне наблюдать, как муж проявлял несусветную деловитость в своём астрологическом соискательстве, писал то восторженные, то надутые письма. На смену счастью в жизни появилась скорость: мир не то чтобы перемещался туда, где не был, но закружился дурной каруселью, — из столицы вернулись родственники, мы сняли комнатку подальше-похуже и под истерический выходной седьмого ноября, в предпоследний день тёплой осени, переехали.

Комната, так называемая «гостинка», и после уборки осталась прокопчена, тускла и почти ужасна. Впрочем, теперь у нас был туалет, отчего в маленькой и тусклой недоквартире неизводимо пахло больничным коридором, — на этом пустейшем пункте моя хваленая приспособляемость дала трещину: я стала гулять вечера напролёт, наматывала то пыльные, то слякотные городские километры. Павла Викторовича нарочно водила по самым людным Пушкинской и Немецкой улицам, но ему, подозреваю, это казалось лучшей конспирацией. После визита в больницу и общения с Настей Владик называет меня исключительно «Вериком» и подкатывает к Верикю с известными предложениями исключительно редко, а сам, бывший затворник, пропадает не сказано где. Подругу я как-то окликнула у гостиницы «Город»; Настя то ли поперхнулась, то ли прыснула: «Гуляем?» — потащила в продуктовый. Разглядывали продавцов-практикантов, говорили о превратностях. «Муж — фигня, — снова давала советы кинолог Настя. — На тебя, маленькая, все и так западать будут». Павел Викторович по-прежнему нетороплив, обстоятелен в рассказах, мудро непритязателен в выборе тем. Я перешла в другой, густонаселённый отдел, составляю для них таблицы и гороскопы, институтские зачёты художественно, но всё легче и легче сдаю, нахваталась, в пятницу звоню маме, убираю, в денежную субботу хожу на рынок, по воскресеньям мою полы; честолобивый Владик мечтает о звании магистра, которое дают где-то в Испании, а у меня мечты нет, — а без мечты нельзя, без мечты могут жить только временно и случайно счастливые. Движение, которого было мало, из нашей жизни исчезло вовсе; остались тяжёлые, не разносимые ветром споры по выходным. И пусть та, собачья жизнь кажется мне теперь... пусть она мне теперь едва кажется, я всё

же хотела бы в неё на минутку вернуться; по первой квартире я часто плачу, — пока проходящий супруг, обложившись книгами, мужественно торит свой путь в никуда: умнеет ли? Меняемся ли? Наверное, кем ни обернись, я так и буду вязать этот свитер вечно (сложный узор, который, запутавшись в счёте или приноровливаясь к размеру, я уже неоднократно распускала, но каждый раз начинала ровней и лучше) — кое-что я вижу теперь слишком ясно, и, может быть, я теперь умная, потому что поняла: глупый человек не должен быть несчастлив. Несчастливый глупый человек — как незаслуженно наказанный ребёнок. Больно смотреть: Господи, за что?

«Тётя Верни-ка, тётя Верни-ка», — старательно здоровается соседская девочка, неслышно переступает высокий порог и глядит на ломтики батона в тостере с жалостью и опаской, как на уши попавшихся зверушек. Мы идём к столу, раскладываем было тетрадки, но замираем у окна. В густых рождественских кустах перед домом, сторонясь человеческих тропинок и вытянув длинную пушистую шею с крохотной головой, пасётся невиданное шерстяное существо. Меня захлёстывают удивление, восторг и нежность, и не отпускают, даже когда экзот оказывается большой припорошенной собакой, которая, наоборот, расхаживает, пригнув к земле крупную голову и подняв поисковый хвост, — и мы бежим во двор и гладим сестричку, не боясь ошибиться, по спине: поперёк, чтобы наверняка.